

Op 84
К-69 НИКОЛАЙ КОРСУНОВ

ВЫСШАЯ МЕРА

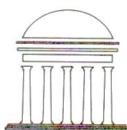


0284
N 22

НИКОЛАЙ КОРСУНОВ

ВЫСШАЯ
МЕРА

66 - 20885222



ОРЕНБУРГСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2005

ГЛАВНОЕ ОСНОВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КНИГИ-УЧЕБНИКИ
“ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. Н. К. КРУПСКОЙ”

Книга первая



Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стоит он на юру, как на войсковой
проверке, и к боку его кривой ка-
зацкой саблей прижимается старица Урала. Сам-то Урал
годов сто назад выправил русло, отошел далее к востоку,
а на память о себе оставил вот эту кривулину-старицу с вы-
соченным яром — шапка падает, ежели от воды глянуть.
И на том поднебесном лбище стоит форпост Излучный,
так его прежде называли, а по-нынешнему — поселок.

В Излучном — две улицы, неширокие, из окна в окно можно видеть, что сосед делает. Главная — Столбовая. С нее выбирается в степь, в кочевой простор расколоченная колесами дорога, устами излучинцев — «градская», потому что ползет она долгие версты между сусличих глинистых бугорков, между полыней и ковылей к главному городу области — Уральску. Пыльной обочиной ее, след в след, уходят из поселка телеграфные столбы, засиженные на макушках беркутами и коршуњем.

А Речная улица льнет к зеленой уральской пойме, к берегу старицы. Есть еще три проулка: Косой, Пьяный и Севрюжий. Косой проулок назван так в память жившего здесь есаула, который окривел во время завоевания Хивы. А по Пьяному проулку, говорят, в Троицын день спускались казаки в луга водку пить, «бышеньку»¹ выплясывать да любушек-забавниц из круга умыкать... Третий проулок и поныне чаще Севрюжым взвозом кличется. В стародавнее время, когда Урал еще у огородных плетней, у самых башен колыхался, по этому взвозу плавенщики да баграчей-ловцы красную рыбу возами поднимали. В ту пору, сказывают старики, осетра да севрюги в Урале было видимо-невидимо, налипало в суводные сети-ярыги, как репьев в овечий хвост. Да только небыль, наверно, вяжут ведуны белобородые! Их послушать, в старицу все лучше, все слаще было. Но тогда какого же пса они то к Стеньке Разину прислонялись, то Емельяна Пугачева облыжно императором возглашали, то на Аral-море из-под царской руки уходили?! От сладкой, что ли, жизни?

Не поймешь этих старииков!

А может быть, и поймешь, если вспомнишь, что селилась на крутых берегах Яика Горыныча² вольница — народ дерзкий, отпетый. От него и семя бунтарское, неспокойное шло: ему и это не так, и другое не этак, всяк на особицу выворачивается, потому как казаки — поголовно все атаманы. Недаром же и посейчас ветхие пращуры на непокорливых внуков ворчат доброхотно: «У, Р-рази-на поррода!»

Вот вы только послушайте Стахея Сильича Каршина, который в Пьяном проулке живет по-над самой старицей. Он вам наговорит черт-те чего! В германскую Каршин до вахмистра дослужился, два «георгия» храбростью заработал, позже белоказачий атаман Толстов сделал его сотником, а уж потом, у красных, Стахей Сильич шашкой да удалью отмолил грехи перед Советами и даже эскадроном командовал на польском фронте. Но в Излучном и по сей день кое-кто прозывает его беляком. И это не столько за прошлое, сколько за теперешние Стахея Сильича разговоры... Уж больно охоч он былое-неворотное ворошить, так и кажется, что о том ему ежечасно сытая отрыжка напоминает.

А излучинцы крепко знают, что в прежние-то времена эта отрыжка и не снилась Стахею, ибо голодранец он был первыйший на весь форпост. Такая уж натура у казака. И за это его недолюбливают. И особенно не может переносить Дуся, Душаичка Осокина, бабенка горячая, злая и веселая безудержно.

Сроду эта ее нелюбовь не печалила душу Стахея Сильича, а ноне всколыхнула, отенила. У Осокиных на неделе свадьба, младший брат Евдокии женится на

¹ Древний танец кочевников, имитирующий весеннюю пляску сайгака.

² Так в стаину частенько называли реку Урал.

фельдшерице. И вряд ли пригласят на эту свадьбу Стахея Каршина — больно уж поцапался третьего дни с Душаей. Он так полагает, но целый день не уходит из дома — надеется.

Слонялся он по надворью, на весь белый свет обиженный, а шея сама выкручивала голову в сторону мазанки Осокиных. За плетнем лишь глино-битная крыша виднелась со стожком сена на сарае. Наконец вошел в свой высокий, на подклете, дом, подмел без нужды горницу и сел к окну. Отсюда хорошо видны излучина старицы, а за ней — пойменный, бордово-желтый лес. Там сейчас по сизым терновникам и ежевичникам черные косачи с молодыми тетерками жириуют, там гомон грачих предолетных стай, там шум листопада... А он, как девка-перестарок, у окна протухает, ждет, позовут — не позовут Осокины?

Стахей Сильч досадливо крякнул. Но тут его заинтересовал парнишка, что брел по кромке противоположного берега. Как назло, это Костя Осокин оказался, сын Душаички, Павловны, как ее все чаще и чаще величают. В Костиных вытянутых руках — длинное удилище с привязанной к нему блесной. На прожорливых нахальных щук охотится.

Знатная должна быть у Осокиных свадьба... Позовут или не позовут? Еще Костька этот глаза мозолит... Эх, кабы позвали! Любил Стахей Сильч, чтобы из ноздрей — дым, из-под копыт — звезды!..

Прошла почтальонка — к Каршинным не завернула. И Стахей Сильч с готовностью переключил свою досаду на сыновей: редко пишут, стервецы! Это потому, что ничего в них казачьего не осталось. Один — паровозный машинист, другой — адвокат, а младший — на учителя обучается в Уральске. Вон ведь в какую линию ударились. На корню высыхает казачество!

И начал бы Стахей Сильч припоминать былое, заветное, да узрил, как вывернулась из-за угла Душаичка Осокина. Ясное дело, за сыном! Понадобился! Ходко, быстро мчит по Пьяному проулку проворная бабенка. Как бы мимо не промчала любезная Евдокия Павловна!

Каршин молодо вымахнул из избы, приткнулся к столбцу калитки. И великое равнодушие легло на его лицо. Будто ну от скучки непереносимой доит он белый пушистый ус и гуляет прищуром поверх мазанок, поверх опустевших скворечен. Но видит старый, как летит казачка. Она еще и не поравнялась с ним, а он уж:

— Далеко ль бежишь, клюковка?

Остановилась, по-хорошему взглянула:

— А я думала, ты на бакенах, Стахей Сильч, на работе...

— У бога дней много — наработаюсь! Далеко ли бежишь, спрашиваю?

А она лукавила что-то, пытала, как живется ему, Стахею Сильчу, в одиночестве, что пишет из города Степанида Ларионовна.

— Чего ей сдеется?! Всё така ж белуга! — Каршин начинал не на шутку нервничать, теряя всякую надежду. И свое раздражение вымешал на ни в чем не повинной жене: — Она иль выработалась! Вечно, матери, богородицей сидит, извеку — сложа руки за моим горбом!..

Павловна, похоже, догадывалась об истинной причине его паршивого настроения, но томила, выматывала душеньку, как потроха на кулак. А потом неожиданно в избу предложила войти. У Каршина грешный туманец колыхнул башку седую. Бежал впереди Павловны и свои мысли вкладывал ей: «Он, матри, ничего казачина! Высокий, прямой, как свечка... Вполне строевой для любви! Мой-то что, мой всегда в степи, возле тракторов. А тут такой сокол-беркут!...»

В сенцах весело боднул сапогом тыкву, выкатившуюся из кучи в угол, с молодой проворностью откинулся перед Душаей скрипучую дверь и так же проворно громыхнул стулом: садись, мол, клюковка разлюбезная, моментом самовар сорганизую, а не то — и бутылочку...

Но Павловна — как не слышала! Стояла и, словно привередливый покупатель, неспешно и придилично оглядывала просторную избу. Выжидательно замерший Каршин следил за ее серыми глазами и боялся слону проглотить, чтобы ненароком мыслей не выдать своих, даже пытался думать о чем-то другом, о бакенах, например, которые он сегодня не проверял.

— Изба мне ваша нужна, Стахей Силыч...

— Та-ак... — Он уже окончательно понял, что не ради его красивых усов пришла она, и остывал, будто босыми ногами в таз с холодной водой влез.

— У невесты дядя должен подъехать, а он у нее красный командир. Вот и решили... У нас мазанка, сам знаешь, нешибко хоромистая...

— Госпуди, Душаичка, Евдакея Павловна, то есть, ды пожалуйста, стол и погреб милости вашей! — Каршин ликовал: не объехала судьба на кривой бударе. — Я ведь тоже, когда женился, то сам наказной атаман у меня за посаженного отца-батюшку... Вот так — он, вот так — я...

Павловна насмешливо сузила глаза: бреши больше!

— Только у тебя тут, — повела взором по заснованным паутиной углам, — дерымом подавись. Ладно, выбребем...

Ух, как взыграла казачья спесивая кровушка! Да поунял ее Стахей Силыч до поры лучшей: «Ужо я те припомню, Душаичка, ужо вспомяну!...»

< 2 >

Октябрьским листопадом кружила над поселком осень. Глуше, длиннее залегали ночи. По утрам на старице нет-нет да и зарождались прозрачные закраины, и под ними потерянно толпились пучеглазые мальчики. Изредка на ветки и провода ложился блесткий рафинадный иней. К обеду он начинал таять, и тогда всюду пульсировала капель, как весной. И лишь к исходу недолгого дня становилось по-летнему тепло, пахло свежевзрытой землей и горьковатым, грустным духом отмирающей листвы. Слышнее позвякивали на огородах лопаты, в пустые ведра гулко падали первые картофелины...

Осокины выкопали картошку еще на той неделе, ранее всех. Костина мать вообще любила все вперед всех делать. «Неистовая Душаичка», — величали ее

старухи. Если за что взялась, то сама исколотится и других надсадит. От этого жизнь Косте казалась временами несносной.

Но сегодня Евдокии Павловне не до Кости. Косте — праздник, Костя нацепил на руку вязанку сущеной воблы, уселся на теплой завалинке и «залупляет», грызет воблу. Будто на губной гармошке играет, только скелеты откидывает. Поджидает Айдара Калиева. Тот ковыляет из школы, зажав под мышкой учебники. У Айдара левая нога короче правой, поэтому ходит он плечом вперед, с прискоком. За это дразнили его кузнецом. Правда, не в глаза: кулак у Айдара небольшой, но железный.

— Ты зачем в школе не был? — Айдар опустился рядом, вытянул короткую ногу, давая ей отдохнуть.

— Ровно не знаешь! — Костя оторвал у очередной рыбины голову, швырнулся на дорогу. Вторую воблу протянул Айдару: — Хошь? Залупляй.

Айдар взял, принял лупить.

— Приехал?

— Давно! Не похож на героя. Маленький, без усов. И все молчит. Молчит и улыбается. Как невестка наша. Она ж всегда молчит. Найдет — молчит, и потеряет — молчит. Маманя говорит, неизвестно, что скрывается за этой благодатью... Рыжая — хоть прикурирай от волос!.. Много задали?

— Только по математике...

Некоторое время молчком грызли воблу. Проницательный Костя считал, что Айдар просто помирает от зависти к нему. Еще бы! У него, Кости, теперь такой родственник объявился: танкист, герой Испании и Халхин-Гола! Но Костя — великодушный человек, предложил:

— Пойдем свадьбу смотреть? У Каршиных пекль, как паровоз. Залезем — сверху все увидим.

Предложение было заманчивым, но Айдар считал, что мальчишествовать ему уже не к лицу: все-таки шестнадцатый год, не то, что Костя с его тринацатью... Айдар отказался.

— А я потопаю. Там завелось. Слышишь?

С каршинского подворья долетали выголоски песен, охальный хохот. Иногда растерзанно вскрикивала гармонь. В небе набирались звезды. Кое-где в избах зажглись огни. Но самые яркие окна были у Каршиных, они длинно, до противоположного берега отражались в старице. С улицы о стекла расплющивались носы и губы зевак, и Костя резонно считал, что люди прилипли к окнам из-за красного командира.

Из распахнутых сенцев — шум, гам, смех. В лицо — духота застолья, запах дешевых духов и нафталина. Прошмыгнуть к печке — дело двух секунд, но у порога Костю придержал, заставил прислушаться непонятный сторонний звук. Кто-то протяжно и безнадежно кричал, только глухо, словно из погреба или бани.

В Косте мигом проснулся разведчик. Он стиснул правый кулак, словно была в нем рубчатая рукоять нагана, и вкрадся в каршинский задний двор.

Черными вражескими крепостями, танками и броневиками надвинулись на Костю многочисленные катухи и сарайчики, и было тут темно и тревожно, как в брошенном колодце. Обычно храбости у Кости — хоть отбавляй, но сейчас ему отчего-то страшно стало. Вздохнула вдруг тяжело корова, и Костя даже присел. Огляделся. За изгородью — пятно белесое. Ну да, корова, чтоб ей... А это? Костя приблизился. Нагнулся. У него клацнули зубы, распрямился с силой лука, у которого обрезали вдруг тетиву. Проскочил двор в два толчка сердца. В кухоньке поймал мать, колдовавшую над новыми закусками, потянул за собой в сенцы.

— Там... дядька Устим... Горобец... — Снова цокнули Костины зубы. — Кто-то голову отрубил...

Павловна схватилась за сердце:

— Господи... Да что ты мелешь... Где?

Побежали к сарайчику. Вытянутое обезглавленное тело кузнеца Устима Горобца лежало на прежнем месте. Опасливо склонились над ним, и у каждого с горки кувыркнулось все: свадьба, красный командир, милиция, связанный убийца, похороны...

А из-за двери сарайчика как завопит вдруг Устимов бас:

— Гр-ра-ажданы-ы!.. Това-аришчи-и!

Павловна отпрянула, у Кости сердце катнулось куда-то к самому копчику. За дверью всполошились куры.

— Чтоб ты на своей штанине удавился! — Павловна торкнулась в дверь — закрыта, да еще на гиревой замок. Схватила за ноги: — Помогай, Костя!

— Ой, не тягни! О-ой, ухи оторвэшь!..

— Налакался, паразит, по удила по самые!..

— О-ой, голова! О-ой, ухи!..

От усердия Костя стащил с Горобца нагуталиненный хромовый сапог. Он уже сообразил в чем дело. Похоже, хмель опрокинул Устима на заднем дворе, но он не сдался окончательно, полз до тех пор, пока не воткнулся в дверь сарайчика. Голова пролезла в квадратное отверстие, выпиленное внизу для кур, а назад уши не пускали. А уши у Устима — на весь Излучный: большие, хрящистые.

— Беги за ключом к Стахей Силычу! — приказала мать, во всех склонениях вышептывая слово «паразит» — излюбленное ругательство уралок.

Свадьбу взбудоражило.

Отчаянно кудахтали в катухе перепуганные куры, рычал и матерился Устим, а излучинцы тешались!

— Метился к куме под кровать, ан — кровать не та!

— Устимушка, рррадимый, ты там кого выбагривашь? Кого шишупашь?!

— Самого щупайте, бабоньки, самого!

Кто-то из мужчин нагнулся — Устим взвыл и яростно заколотил по земле ногами. А охальник ржал:

— Там уж болтун тухлый... И-г-гы-гы!..

— И-и, зенки-ти зазил бесстыжие... Стахей Силыч, где же ключ?!

А ключа не было. Пропал ключ. Стахей Сильч припрятал его еще со дня (далше положишь — ближе возьмешь!), а теперь не мог вспомнить — где. Он шарил под застrehами, метался по избе и вслух скорбел:

— Понос прошибет птичку, нестись перестанет... Вот заррразынька!

— А тебя часом не пронесло з горя? — Это сказала жена Горобца Варвара. Пожалуй, лишь она осталась безучастной к судьбе бесславно застрявшего мужа (хай вин сказыться!). С достоинством сидела суровая сухопарая хохлушка за столом и пичкала разными разностями пятилетнего внука. — Тебя, вижу, не прошибло, Стахей?

Каршин шепотком помянул ей святую богородицу и крутанулся вон из горницы. Костя скользнул мимо него и проворно взобрался на широченную каршинскую печь. Глянул поверх ее борова вниз и остался доволен: все видно и слышно. Только духота здесь копилась непереносимая: от людской тесноты, от горячих закусок, от двух сорокалинейных керосиновых ламп, ослеплявших белым светом. И еще Костя ругал себя за то, что слопал неизвестно сколько вобл, — пить хотелось. Но отсюда Костю ничем не выморить! Не часто такие свадьбы случаются.

А свадьба царская была! Может быть, не совсем царская, но расстаралась Павловна! Не пожалела расходов. Да и то: крепенько начали жить Осокины. Сам Василий Васильевич — бригадир тракторный, Павловна — известная звеневая по просу. Да и жених целое лето где-то у геологов работал, говорят, с хорошими деньгами вернулся.

Больше всего следил Костя за Иваном Петровичем. Тот вернулся со двора и все еще смеялся над разносолом казачьих шуток. Костины глаза прямо лиplи к его орденам, привинченным к толстому сукну гимнастерки. Присматривал и за женихом с невестой. Настя почти не поднимала головы, клонила пылающее лицо, и Косте виден был лишь венец ее белой, тончайшего кружева фаты. Но и без того знал он, как красиво Настино лицо, озаренное вишневыми глазами. Зато Сергей, высокий, сутуловатый, в черном костюме, живо поглядывал вокруг и все время улыбался. Еще бы! Рад-радешенек: какую девку отхватил! Он сразу же узрел над беленым боровом, под самым потолком Костину конопатую рожицу. Подмигнул ему и, тронув локоть Насти, глазами показал на Костю, счастливо растянувшего рот с редкими, «брехливыми» зубами. Настя улыбнулась и вновь потупилась. А Сергей лукаво кивнул Косте на стеклянную вазу с конфетами: как, мол, смотришь на все эти штуковины? Только перед женихом с невестой стояли такие неслыханно дорогие конфеты, коим даже названия Костя не знал. И он согласно мотнул головой. Сергей выловил из вазы несколько штук и сунул в карман. Для него, для Кости!

Почти все свадебщики были заняты во дворе Устимом Горобцом, и жених с невестой выпали из пригляда. Поэтому Сергей, снова моргнув Косте, тоже нашел чем позабавиться. Он, очевидно, уже давно приметил, как Горобчин внуk жадно поглядывает на тарелку с горчицей: больно уж вкусно крякали и хвалили ее гости, намазывая закуску. Сергей незаметно пододвинул тарелку к мальчуга-

ну, и тот, воспользовавшись заварухой, поднятой его дедом, не замедлил зачерпнуть полную ложку да скорей в рот... Вытаращил бедолага глазенки, по щекам слезы покатились, и только через минуту, наверно, передохнул:

— Бабо, и кто цэ такэ поганэ на стил постав-выв?!

Тут уж и Настя не выдержала, рассмеялась, прикрыв рот батистовым платочком.

А в задней комнате угорело качнулись стены от пьяного галдежа и хохота. Костя повернулся к двери. Подталкиваемый в спину, легко переступил выбитый порожек Устим Горобец — догадались-таки свернуть шейку у замка, введя в расход хозяина. В вороных волосах Устима — и перо, и пух куриный, и... Такое ж разве можно упустить! Снова — зубоскальство, снова — потеха.

Устима увели, чтобы облагообразить. Варвара даже бровью не повела на своего «чоловика». Она вытерла внуку нос и продолжала разговаривать с Анджеем Линским, квартировавшим у них в кухонке через сенцы. Впрочем, говорила она, а Анджей молчал и, могло быть, совершенно не слышал ее. Был он уныл и неподвижен, как надгробный памятник. Этот поляк, появившийся в Излучном полгода назад, всегда был таким. Если и улыбался, то смотрел на собеседника грустными глазами больной птицы. Казалось, он — сама выплаканная скорбь по распятой, истоптанной родине. Голова его мелко-мелко вздрагивала — контузия.

Костя увел от него взгляд. На красивого, с пушистыми бакенбардами поляка всегда было тяжело смотреть. И особенно сейчас, на свадьбе! Но к Анджею пересел Иван Петрович, и Костя невольно напряг слух: о чем разговор? На одном была гимнастерка, на другом — френч с накладными карманами. Пуговицы тоже разные: на френче — белые, тусклые, с заносчивым орлом, а на гимнастерке — латунные, начищенные, остроконечная звезда лучи испускает.

— На каком участке воевали, солдат?

— Под Пинском, пан майор! — Анджей сделал попытку встать, но Иван Петрович обнял его за плечи, усадил: «Что вы, что вы!» Анджей сел, но чувствовал себя, видимо, неловко. — Двадцать первого сентября контужило меня, пан майор.

Табаков промолчал и как-то странно засмотрелся на добродушного Николу Угодника, взиравшего на свадьбу из большого, засиженного мухами киота. Костя недоброжелательно глянул на мать, запевавшую почему-то украинскую «Розпрягайтэ, хлопцы, коней...»: «Не могла выбросить этого бородатого хрыча!» Понял, что командир смотрит на образ, но не видит благодушного старца. Вероятно, был он мыслями и чувствами где-то далеко-далеко. Прямые, с рижинкой брови шевелились, поднимались ступенькой одна над другой. Хотел бы Костя знать, о чем Табаков думает.

— Го-орька-а! — взгорланил вдруг Стажей Сильич, нетвердо поднявшись с места и плеская из граненой рюмки на жареного гуся. Верно, отошел старина, забыл о сломанном замке и перепуганных курах. Пучил остекленевшие глаза:

— Горька-а!

А потом пытался вытянуть свое яицкое захудалое «войско». С артистическим надрывом, со слезой в надтреснутом голосе:

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул.
Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66